

Брусли

— Чего молчишь? — спросил я.

— Думаю, — солидно ответил Стёпа. — Не могу понять, что за день был сегодня.

— Нормальный день, — небрежно сказал Лом.

Он приподнялся и устроился полулежа, плечами на подушку; закинул длинные руки за голову.

— Кстати, еще не вечер, — сказал Влад. — Пойдем баб мазать? В третий отряд?

— Можно, — сказал Лом. — Только попозже.

— Недельку собираемся, — с отвращением сказал я. — А еще ни разу не сходили.

Моя кровать стояла второй от окна. Первым — на самом престижном месте, рядом с окном — располагался Лом, я занимал следующую позицию.

За окном мерцало баклажанное крымское небо.

— Дались вам эти бабы, — сварливо пробормотал Стёпа. — Кого там мазать?

— Не, — хищно возразил Лом. — Есть нормальные. Я бы рыжую намазал. И не только намазал. Она интересная. Видно, что готова на многое...

— Ты в пролете, Лом, — сказал я. — Рыжая гуляет с Филом из первого отряда.

Лом цинично фыркнул и посмотрел на меня своим особым взглядом, презрительно и одновременно покровительственно.

Он не презирал меня и не покровительствовал, только иногда бросал такой взгляд.

— Ну и пусть гуляет, — сказал он. — Я не собираюсь с ней гулять. Вообще, что это за слово такое — «гулять»? Я бы ее потрогал за всякие части тела... А гуляет пусть хоть Фил, хоть кто другой...

Лом был звездой нашего отряда: красивый блондин с ярко-голубыми глазами, широкоплечий и обаятельный. Он менял подруж каждые три дня.

Впрочем, нет: звездный статус имели они все. И щуплый умный Влад с родинкой на шее и талантом к пению, и нескладный, длиннорукий и длинноногий Стёпа, и прочие, все семь человек из нашей палаты. Исключая меня, разумеется. А Лом среди них — звезд — считался суперзвездой, чье сияние нестерпимо.

Все они были детьми дипломатов и разведчиков. А пионерский лагерь назывался «Звездочка» и принадлежал Комитету государственной безопасности Советского Союза.

Я, напротив, был сыном обычных школьных учителей. Отец и мать устроили меня в «Звездочку» случайно, по знакомству. Заодно и сами устроились. Месяц у моря, непыльные должности — от такого не отказываются. Какие-то мелкие шестеренки в недрах Министерства образования то ли сцепились неправильным образом, то ли, наоборот, расцепились — и семья простых советских тружеников оказалась там, куда простых обычно не пускали, только непростых.

Это была прекрасная синекура, пахнущая шашлыками и массандровскими портвейнами. Мать заведовала кружком кройки и шитья, отец — судомодельным. К матери в гости я не заходил, а вот вокруг отца непрерывно увивались потомки самых элитных семейств страны, каждый норовил шваркнуть напильником по деревянной палубе миниатюрного катера или крейсера или хотя бы намалевать

кисточкой иллюминатор на гладком боку. Особенным успехом пользовались подводные лодки в масштабе один к пятистам: они умели самостоятельно погружаться и всплывать; загорелые потомки дипломатов и разведчиков немели от восторга.

Особый статус лагеря не сразу стал мне понятен.

В поезде — пока ехали — почти все мальчики и девочки показались мне обыкновенными мальчиками и девочками. Может быть, слишком ярко одетыми, со слишком розовой кожей — но без особых претензий на избранничество. Дружелюбные, открытые, умные, хорошие. На весь густонаселенный плацкартный вагон нашелся только один — конопатый, лет шести или семи, суший бес; он скакал, орал, хохотал, толкал всех, кого можно было толкнуть, однако взрослые — вместо того чтобы дать шалуну подзатыльник — только умильно улыбались. Конопатый продолжал опасно озоровать и в конце концов довел дело до беды. Когда мой отец шел по проходу, держа в каждой руке по два стакана горячего чая, миниатюрный дьявол прыгнул, и посуда обрушилась. Кого-то обварило кипятком — но несильно, иначе вызвали бы врача. Отца тоже обварило, сильно или нет — осталось невыясненным; отец переносил любую боль молча. Я спросил у матери, почему маленькая сволочь осталась без наказания и продолжила сигать с полки на полку, визжа от возбуждения, — мать шепотом разъяснила ситуацию. Конопатого дикаря звали Феликс Феликсович Дзержинский, и он приходился тому, самому первому и легендарному Дзержинскому, Железному Феликсу, то ли правнуком, то ли праправнуком. В честь самого первого, Железного, продолжила мать, всех его потомков по мужской линии теперь называют исключительно Феликсами.

Я тогда хладнокровно пожал плечами. И не испытал желания дернуть за ухо юного отпрыска одной из величайших советских династий. Даже не презирил.

Меня воспитывали в строгости. Когда юный первоклассник Андрюша переступил порог школы, неподалеку находились представители двух поколений его рода: дед был директором, бабушка преподавала в младших классах, отец — физик, мать — учитель русского языка. Первоклассник знал: если он ударит девочку, или получит двойку, или kinetic бумажку мимо мусорного ведра — он опозорит фамилию. Это не декларировалось, не вдалбливалось в голову, но подразумевалось, витало в воздухе; весь семейный уклад был оформлен таким образом, чтобы исключить самые основания для недостойных или стыдных поступков.

Наблюдая за красным от возбуждения сгустком дурной энергии — Феликсом Феликсовичем, — я испытывал лишь недоумение.

Однако более зрелые потомки влиятельных фамилий советской империи, мои товарищи по отряду — сыновья и внуки генералов, дипломатов, засекреченных агентов, послов, работников внешней торговли и прочих серьезных людей, решавших судьбы страны, — оказались вполне контактными, даже простыми существами, обыкновенными пацанами, может быть, немного слишком спокойными и немного чрезмерно брезгливо ковырявшими по утрам в тарелках с кашей; но, вправду сказать, я и сам не до конца понимал, зачем кормить кашей нас, взрослых мужчин, чьи подбородки уже просят бритвы.

— Нет, — сказал Стёпа. — Все-таки странный день. Целый день хожу, занимаюсь чепухой... Играл в теннис — ногу подвернул... Скучно. Домой хочу.

— Расскажи, — вежливо попросил Лом.

— О чем?

— Что такое «скучно».

— Пошел ты, — грубо сказал Стёпа.

— Нет, я серьезно, — сказал Лом и на самом деле стал серьезен. Он это умел. — Мне вот никогда не бывает скучно. Я говорю: пошли на турник — ты не идешь. Я говорю: пошли в самоход, в город, вина купим — ты говоришь: не хочу. Ты сам такой, понимаешь?

— Какой? — раздраженно спросил Стёпа.

— Скучный. Ты скучный, вот тебе и скучно все время.

Лом не зря считался суперзвездой: он умел быть жестким и прямым, но и дипломатичным. Ни одного трудного разговора не довел до драки. Драку считал глупым занятием. «Может, ему передались гены отца-дипломата?» — подумал я. Вряд ли.

У Стёпы и Влада отцы тоже дипломаты. Но они не умеют избегать конфликтов. Стёпа обязательно дерется раз в неделю. Три дня назад подрался с Филом из первого отряда; Фил ему навешал. А Влад вообще агрессивный малый, но при этом хитрый, мужиков из первого отряда никогда не задирает, в основном — малолеток, кто послабее, из четвертого, из пятого. И обязательно на глазах у баб. Плечи расправит — и позирует. Получается плохо, малоталанливо, и бабы — кто поумнее — это чувствуют, поэтому Влад у баб не имеет успеха.

Я вздохнул и подумал, что можно бы уже и заснуть; но спать не хотелось.

Кому хоть раз удалось заснуть в десять часов вечера в июле в Крыму?

У меня с бабами вообще не получалось. Еще до лагеря все было понятно. А здесь, в Евпатории, пришлось укрепиться в этой прискорбной мысли. Вчера в кино на лавке за нашими спинами сидели две интересные, из первого

отряда, и, когда погас свет, они очень нежно попросили нас немного подвинуться. Лом хладнокровно сказал: «Океу, young ladies, no problem» — и сместился в сторону, а Влад прошептал: «Если есть желание, можете сесть к нам на колени», и девчонки корректно отказались; но когда я, идиот, зачем-то решил тоже поиграть в эти игры, обернулся и добавил: «Кстати, да! Так будет все видно!» — обе они вдруг презрительно вскинулись и едва не хором предложили мне побеспокоиться о своих ушах. «Они весь экран загораживают», — враждебно сказала первая, в белоснежных шортах, а вторая молча щелкнула по правому моему уху твердым взрослым ногтем.

Я не был оскорблен, я был опечален. Зачем они так со мной, думал я. При чем здесь уши? Да, они большие и торчат, но ведь есть и достоинства, которые при близком контакте могут заменить и нивелировать недостатки. Смотреть надо не на уши, а на то, что между ними. Да, не красавец, не обаяшка, но и не урод, а если совсем начистоту — любую, самую гордую и требовательную, самую капризную, я готов бросить в бездонные глубины моего внутреннего мира и там, в центре разноцветного космоса, предъявить бесчисленные, не имеющие аналогов сокровища. Острота моего ума невероятна, таланты многочисленны, эрудиция громадна. Я сочиняю песни, стихи, рассказы. Я уже опубликован в городской многотиражной газете и состою в переписке с редакцией журнала «Юный техник». Я играю на гитаре, включая обычную, а также электро- и бас-гитару, я читал Фолкнера и Камю. Прошлым летом в деревне у бабки я собственноручно пытался изготовить скрипку: две недели ушло на вырезание из соснового бревна двух заготовок, для верхней и нижней дек, работа не прекращалась ни на час, если Гварнери и Страдивари смогли — значит, и я смогу; и только приезд отца, практичного

и радикального человека, который, не разобравшись, выбросил детали на помойку, помешал мне восторжествовать, ибо найден уже был и самоучитель, и подставка под струны, и самые струны, и гриф, и колки для грифа, и смычок, и ка-нифоль для смычка даже.

А фотоаппарат? А портреты одноклассников, сделанные прямо на уроках физики и алгебры? А фокусы с фотобумагой, которая специально засвечивалась с положенным поверх трафаретом, чтобы потом на благородном фоне цвета слоновой кости появился темный силуэт лошади, или парусного фрегата, или собственной ладони с бескомпромиссно расставленными пальцами, или просто — замысловатое абстрактное пятно с волшебно размытыми краями? А второй, черт побери, взрослый разряд по волейболу? А сборник Высоцкого «Нерв», полностью переписанный от руки печатными буквами через фанерную рамку, в точности так, как это делал ослепший автор недурно написанной повести про закалившуюся сталь? А пластинка-гигант со стихами Вознесенского, выученными наизусть, включая интонации и характерное для настоящих поэтов соблюдение авторского, неповерхностного ритма каждой строфы? И что, эти вот интимнейшие и сложнейшие истории, этот опыт прогрызания своего личного канала, снаружи — к самой сердцевине мирового духа, туда, где покоятся в сахарной мякоти семена будущего, эти вот события, эти моменты восторга перед чудесами Вселенной оказываются менее важными, нежели большие оттопыренные уши?

Нет, девочки, лучше я побуду без вас, пока не найдется одна, которая все поймет и оценит.

По вечерам строились планы, кого идти мазать зубной пастой — своих ли женщин, из второго отряда, либо чужих, из третьего или даже первого. Правда, мужики из первого отряда несколько раз давали понять: женщин из первого

отряда мажут только мужчины из первого отряда. Но мне было все равно, каких женщин мазать, я жаждал самого факта.

— Надо подождать хотя бы два часа, — сказал Влад. — Чтоб вожатые тоже заснули.

— Значит, будем ждать, — сказал я.

Лом зевнул.

— Тогда толкнете меня, — сказал он. — Когда соберетесь. А я посплю.

— Ни фига, — возразил я. — Это нечестно. Мы не спим, и ты тоже не спи. Кто выдержит и не уснет — тот идет. Кто не выдержит, тот не идет.

— Логично, — ответил Лом, не глядя на меня. — Уговорил. Никто не спит, все идут мазать баб. Через два часа.

Из всей нашей команды только я умел критиковать лидера. Лому нравилась моя прямота. Лом был красив, широкоплеч и умен — элита, белая кость, сливки общества. Я последовательно учился в трех больших провинциальных школах — и нигде не видел юношу столь удивительных достоинств. Однако Лом, как всякий представитель элиты, привык к подбострастию со стороны сверстников и скучал по обычным приятельским отношениям; он выделял меня. Я держал себя с ним на равных, я мог даже прикрикнуть на чувака из элиты.

— Тогда, — предложил Влад, — давайте разговаривать. А то не выдержим. Кто смотрел фильмы с Брусли?

— Я смотрел один, — ответил Стёпа.

— И я смотрел, — ответил Лом. — И что?

— У нас дома была кассета, я половину посмотрел, а потом отец отдал кому-то... Чем закончилось — до сих пор не знаю.

Лом опять зевнул и спросил:

— А начало? Про что там было в начале?

Влад перевернулся на бок.

— В начале он приезжает к себе в родную деревню — его там встречают, кормят, поят, праздник и все такое... Спать укладывают. Утром он просыпается, в доме — тишина. Встает, идет по коридору, видит дверь, а из-под двери — кровища течет. Он открывает дверь, а там все мертвые. Он дальше идет, вторую дверь открывает — там тоже все мертвые. У кого горло перерезано, у кого финка в сердце. Он, короче говоря, все двери выбивает — везде одни мертвецы. И его отец, и мать, и братья, и невеста, все. И он начинает искать, кто это сделал...

— Нет, — без интереса ответил Лом. — Это я не смотрел.

— А ты какой смотрел?

— Я смотрел, где ему в самом начале учитель вешает на шею такой особый амулет, на шнурке, и говорит: «Брусли, запомни, тебе драться нельзя. Запрещаю. И этот амулет — специальный, в общем. В нем внутри хранится твой запрет на драки. Кто бы ни пытался с тобой начать драку, кто бы ни провоцировал тебя, или твоих друзей, или кого еще — возьмишь рукой за амулет, и, в общем, сразу успокоишься...»

— Подождите, — перебил я. — А почему ему нельзя было драться?

Лом и Влад тихо рассмеялись, а Стёпа даже сел в кровати.

— Потому что он — Брусли! — шепотом пояснил Влад. — Сначала его отец тренировал, с самого рождения. А потом он сам тренировался. И в конце концов дошел до такого, что мог одним пальцем пробить насквозь любого человека.

— Это фигия, одним пальцем, — сказал Лом, тоже переходя на шепот. — Он от пули уходил. Всю жизнь ездил из одной страны в другую страну и везде тренировался

у самых лучших тренеров. Но сам никого не тренировал. Его много раз просили, предлагали миллионы, а он говорил: «Мне ничего не нужно. Деньги, женщины — не интересуюсь, в общем. Я столько накопил информации, столько всего знаю, что уже эти знания нельзя другим передавать. Я умру, и они тоже умрут. Вместе со мной». И его только один раз уговорили, предложили в кино сняться. И он согласился, но с условием, что он будет драться, но всю технику показывать не будет, а только самые простые приемы: удары там, стойки, ногой с разворота, все эти вещи...

— Да, — сказал Стёпа, снова ложась и пряча под одеяло длинные мосластые ноги. — И он еще перед съемками сказал, что все актеры должны расписки написать, что не имеют претензий. Я, говорит, буду бить только на пять процентов своей силы, но все равно не даю гарантии. Попаду, например, в болевую точку, и все, человек умрет. И на этих условиях снимался.

— И что было дальше? — спросил я. — В том фильме? Где ему амулет повязали?

Лом вздохнул, делая вид, что устал от разговора. Но я видел, что он не устал, что мое невежество его забавляет.

— Ну, он пошел, устроился на завод работать. А все видят, что он — такой крепкий, ловкий, и начинают сначала над ним шутить, потом оскорбления, потом издеваться стали... Он терпит, молчит, если что — вот так руку кладет на амулет, — Лом положил пальцы на грудь, — и терпит. Так где-то треть фильма проходит. Причем он каждый день после работы тренируется. И больше ничего не делает. После работы сразу — раз, и в лес пошел или на задний двор, или вообще на улице встанет — и тренируется. Стойки, удары, все эти вещи, в общем...

— Подождите, — сказал я. — Он по сюжету тренируется или на самом деле?

— Вот ты тупой, — прошептал Влад. — Сказали тебе, он играл всегда самого себя. Брусли. Потому что он такой один во всем мире. Все люди знают, что он — Брусли, а по фильму он будет Джон какой-нибудь? Молчи лучше. Слушай.

— Тихо вы, — произнес Лом. — Уже весь корпус спит. Я перевернул подушку прохладной стороной вверх.

— Ну и что потом? — спросил Стёпа.

— Потом он узнал, что на заводе делают наркотики. А хозяин завода понял, что Брусли все знает, позвал рабочих, которые с хозяином заодно были, и говорит: «Убейте его». Они пошли, в общем, устроили засаду, он идет с работы домой, они выбегают толпой, человек двадцать, и давай его молотить. Кто кулаками, кто цепью, кто ножом. А он, в общем, все равно не дерется, прикидываете? Просто уходит от ударов, а сам никого даже пальцем не тронул. Уклоняется — и все. Они уже вспотели все, не понимают, что делать, а он спокойный, как ни в чем не бывало. И тут один, у которого нож на длинной палке, бьет его, Брусли уклоняется, а нож срезает его амулет. Брусли смотрит: нет амулета. Поднимает голову, как завизжит — и давай их гасить! Один удар — один труп. Всех, в общем, загасил, а одного, последнего, оставил в живых и говорит: «Иди, в общем, к тому, кто тебя послал, и скажи, чтобы прислал ко мне самых лучших воинов, всех, сколько есть». Тот напуганный, штаны мокрые, трясется — и убегает.

Лом повернул ко мне голову.

— Понял?

— Нет, — сказал я. — А дальше что?

— Всё, — солидным тоном ответил Лом. — Конец фильма.

— Опять не понял, — сказал я. — Что за кино такое странное?

Лом посмотрел на Влада, на Стёпу; все трое тихо и грубо захихикали.

— Нет, конечно, — сказал Лом. — Это только пол-фильма. Шутка, в общем...

— Хорошо, — сказал я. — Не смешно. Давай дальше.

— Дальше, — Лом зевнул, — там сплошные драки. Этот, который хозяин завода, сначала собрал банду, человек сто, и послал. Брусли идет по улице, за угол завернул — а там толпа! У кого дубина, у кого пила, у кого цепь, все здоровые, на мышцах, морды дикие... Он встал спокойно, а они вокруг него забегают, по бокам, за спину, готовятся. А он улыбается и вот так делает, — Лом зажал большим пальцем одну ноздрю, а из другой выдул воздух. — И потом начал. Одного, второго, третьего... Потом у одного нунчаки отобрал, и вообще началось такое, что просто конец всему...

— Точняк! — перебил Стёпа, неожиданно сильно возбудившись и опять садясь. — Теперь я вспомнил! Он нунчаки крутит — а они просто встали все и смотрят, глаза вот такие, не знают, что делать. Я смотрел эту киношку. Только давно, когда в Австрии жил... Один, самый смелый, сунулся, а Брусли только одно движение сделал — вообще незаметное, только свистнуло в воздухе, — и тот падает, и у него черепушка пополам разваливается! И мозги ползут... Точняк, я смотрел это. В конце там оказывается, что директор завода сам каратист серьезный. Брусли всех ломает, к нему в дом приходит, охрану вырубают — кого в кусты, кого через забор, кого в бассейн с водой, всех раскидал; дверь в комнату директора выбивает и видит: директор сидит себе спокойно за столом и чай пьет...

— Да, да, — Лом оживился, — это сильный момент. Все, в общем, думают, что директор офигел от страха. В смысле, то есть зрители думают. А директор чай пьет. Потом смотрит на Брусли и начинает хохотать. Хо-хо-хо! Брусли стоит,

ничего не понимает. Потом директор прямо как сидел — вскакивает, за одну сотую секунды, и уже на столе стоит, и в каждой руке — самурайский меч. И начинает этими мечами махать, в общем. Слышно только свист, и все падает. Люстра с потолка, чайник со стола, стулья — пополам, все в кашу рубит и на Брусли идет. А Брусли уже подраненный: тут задели, там повредили... Он за фильм человек триста завалил, не меньше... Силы на исходе, в общем. Директор — раз, и куртку ему разрубает. Брусли куртку срысывает, и вперед. Начинает уклоняться, отпрыгивать, ложные движения, все эти вещи... И видит, что позади директора лежит стул сломанный и одна деревяшка торчит, острым концом. И он, в общем, ловит момент — а сам уже еле двигается, тоже весь в крови, — и директору из последних сил пробивает в грудь, с ноги... Тот падает — и ему эта деревяшка сзади вот так входит, в шею, а спереди изо рта выходит.

Я помолчал, обдумывая все услышанное, и сказал:

— И чего? Вы во все это верите?

— Во что? — спросил Стёпа.

— Что один может триста человек победить?

Лом фыркнул.

— При чем тут «верить» или «не верить»? Это Брусли, понимаешь? Человек-легенда. Про него весь мир знает.

— Лично я ничего не знал.

— Теперь знаешь. В Совке эти фильмы не показывают.

— Где?

— В Советском Союзе, — пояснил Влад.

— Слишком много крови и насилия, — добавил Стёпа. — Народу это вредно.

Лом подтянул одеяло к груди.

— Народ ни при чем, — сказал он. — Бабки просто жмут. Фильм с Брусли купить — нужна валюта...

— Опять не понял, — сказал я. — Вы говорили, что ему деньги не нужны. А теперь говорите, что его фильмы за валюту продают.

— Так его ж нет, — пояснил Стёпа. — Его убили.

— Сам ты «убили»! — горячо возразил Влад. — Кто его убьет? Он же Брусли! Он без вести пропал. Говорят, что ушел в горы и там один живет и тренируется.

— Я тоже слышал, — сказал Лом. — Он собрал всех журналистов, из всех газет, с телевидения, английских, американских, японских, со всего мира, в общем. И говорит: «Я такого мастерства достиг, что мне уже соперники не нужны. Всех, кто есть, всех самых сильных мастеров я победил по десять раз, и сейчас уже мне опасно сражаться с соперниками. Убиваю одним движением мизинца. И теперь удаляюсь от людей и никогда не вернусь».

— И ушел?

— Ушел, — ответил Лом. — А теперь давайте спать, в общем.

— Погоди, — сказал Влад. — А баб мазать? Что, не пойдем?

— Хочешь — иди.

— А ты?

— А я — спать. Завтра намажем. Или послезавтра. Ты правильно сказал, день сегодня был какой-то дурной. То ли жара, то ли еще чего...

— И у меня, — сказал я.

— Что?

— И у меня был странный день.

— Понятно, — пробормотал Лом, укладываясь поудобнее. — У всех был странный день... Все, я сплю, в общем...

Я тоже сдвинулся вниз, еще раз перевернул тощую подушку и попробовал закрыть глаза.

День был не странный — особенный.

И месяц был особенный, и все это лето особенное, бесконечно длинное, до горлышка наполненное событиями. Почему-то этим летом мне иначе дышалось, а у астматиков свои отношения со входящим в легкие воздухом, — вдруг он стал входить много быстрее и глубже, и все неумовимо изменилось: окна и стены, деревья и дома, небеса и лица людей то ли надвинулись, то ли расступились, редкий день обходился без стремительных и коротких приступов головокружения, но они не пугали — веселили, бегающие перед глазами радужные светляки были забавны и не мешали приывать к переменам.

Весь апрель и весь май прошли в изнурительных репетициях. Группа в целом была сформирована, и репертуар определен, барабанщик и вокалист справлялись, самому пришлось работать на ритм-гитаре, хотя мечтал играть на соло; все гитаристы хотят играть соло — но, увы, не хватало мастерства. Наверное, надо было, как этот Брусли, тренироваться с утра до ночи? И больше ничего не делать, только тренироваться. В мае почувствовал, что бэнд готов и можно играть получасовой концерт, и внес предложение выступить на выпускном вечере, но директор школы, придя на репетицию и послушав, отказался брать на себя ответственность. Станный репертуар, эклектика... Я промолчал, хотя не был согласен. Жан-Мишель Жарр, «Магнитные поля» — это разве эклектика? Это классика... Как ни странно, запрет обрадовал участников бэнда: никто не рвался выступать на публике. Всем нравился процесс, ежедневный сбор на заднем дворе, отмыкание — своим ключом — задней двери и посиделки в душной комнате по соседству с токарной мастерской, возня со шнурами, усилителями, подкручивание разнообразных никелированных винтов, перепаивание разъемов (запах паяльной канифоли сопровождает всякого настоящего рокера) и вдумчивое прослушивание

магнитофонных записей — как он это играет, в какой тональности, с педалью или без?

В промежутках между репетициями сдавались экзамены — смешные, ничего не значащие экзамены после восьмого класса; наиболее взрослые и ленивые уходили в техникумы и профессиональные училища, из двух восьмых классов формировался один девятый, это волновало гораздо больше, нежели итоговые отметки; восьмой «А» соперничал, разумеется, с восьмым «Б», и вот теперь «ашники» смешивались с «бэшниками» в пропорции два к одному, это возбуждало и озадачивало; немногочисленным патриотам буквы «Б» — суровым парням и девам — предстояло ассимилироваться с чистенькими и умненькими мальчиками и девочками категории «А».

Спустя две недели, на выпускном, ассимиляция произошла сама собой, и после дискотеки пошли гулять по ночному городу уже одной тесной компанией; пришлось даже нарушить нерушимую клятву, данную самому себе еще год назад, и вынести из дома личную гитару, которая была выхолена и взлелеяна до крайней степени. Струны идеально ровно лежали над грифом и звенели, давая нужный звук, при легчайшем касании пальца. Смешанная — «А» и «Б» — компания бродила до пяти утра, оглашая город умеренно хулиганскими песнями, и три пластиковых медиатора были сломаны, ибо инструмент на улице должен звучать громко; мелкий прохладный дождь никого не смутил, джентльмены накинули пиджаки на голые плечи дам, а в половине шестого обладатели пиджаков пошли провожать по домам обладательниц голых плеч, и только гитарист остался наедине с гитарой, но на судьбу не роптал, потому что баб много, а гитара одна.

Через два дня струны тронула ржавчина, но гитарист не горевал. Ему слишком свободно дышалось, он разучился горевать. Кроме того, эти — стальные,

посеребрённые — давно хотелось поменять на более приятные и мягкие: нейлоновые.

Потом нейлоновые были куплены и установлены, потом стало не до них: наконец семья из четырех человек переехала из темноватой комнаты в бабушкиной квартире — в собственные хоромы. Комната тоже одна, зато просторная, да и кухня такая же, а за окном вместо тяжелой листвы старых тополей — вид на стадион.

Переезд от бабки занял весь июнь, а в июле семья в полном составе погрузилась в поезд и поехала в лагерь «Звездочка».

Вернусь, подумал я, — сделаю нунчаки и буду крутить прямо в кухне. Места хватит. Размеры сниму у водителя Олега. В этом лагере все водители — слушатели Высшей школы Комитета государственной безопасности, все красавцы и атлеты, каждый сам себе Брусли; по утрам в саду возле нашего корпуса Олег крутит свои нунчаки, и при внимательном наблюдении становится понятно, что движения и перехваты способен освоить любой неглупый человек. Если Брусли может, значит, и я смогу.

Давно пора заняться телом. Теперь оно качает через себя кислород с удвоенной силой, теперь я могу бегать и прыгать, и руки мои, пусть тонкие, достаточно ловко умеют рассекать пространство.

Особенный июль особенного лета. Особенности друзья: они смотрят на мир как на телеэкран, где совершают подвиги и сокрушают врагов люди-легенды, о которых никто не слышал в моей стране.

Особенный день. Такой бывает один раз в году.

Утром мне было четырнадцать, а после обеда — уже пятнадцать.

Никому не сказал, молчал. Мне нравится, когда я знаю что-то, чего другие не знают. Хожу, молчу, ношу в себе,

смотрю вокруг и хитро улыбаюсь. В этом смысле день рождения — идеальный случай. Вроде бы все как всегда, а у тебя — праздник.

Проснулся и сразу ощутил резкий запах мяты. Подушка прилипла к щеке. Потрогал — пальцы погрузились в густое, липкое. Поднял голову.

Намазали всех. Особенно досталось Лому: лоб, щеки, даже брови. Мне разукрасили только скулу. Стёпе тоже намазали лоб, но он ворочался во сне, и теперь даже волосы его спереди были покрыты белыми следами.

На оконном стекле вывели «ХА-ХА!», уголки букв украшены были виньетками, и по этим виньеткам и по сути написанного стало понятно, что нас намазали женщины. Может, наши, может, из первого отряда или даже из третьего.

Злой Бабай

Я закрыл глаза и натянул одеяло на голову. Зимой в нашей казарме все так делают. Во-первых, никого не слышишь и не видишь, во-вторых, согреваешься собственным дыханием. Но от входа донесся его голос, и я мысленно выругался.

Мы ненавидели друг друга с первого дня. Примерно раз в месяц крупно ругались. Бывало, и дрались — в карантине, на первом месяце службы, и после карантина, на втором месяце; потом привыкли друг к другу и немного успокоились.

На третий месяц почти все солдаты успокаиваются.

Служба — двадцать четыре месяца. Один месяц — нормально, два — вполне прилично, три — совсем хорошо, а как перевалит за полгода — считай, самое страшное позади.

Прослужил полгода — службу понял. Если разрешили спать — немедленно ложишься и спишь.

Он сказал что-то дневальному. Сначала на русском, потом добавил по-азербайджански. Громко топая, вошел в казарму.

Бабай, главный мой недруг, плохиш, толстый дурак.

Впрочем, мне все равно, я уже почти сплю, мне вечером в наряд на кухню. А он за полгода был на кухне только один раз, а когда его опять пытались отправить мыть кружки и миски — наотрез отказался и получил трое суток «губы». Вернулся неопишимо грязный и гордый; больше на кухню его не посылали.

Если сейчас подойдет, решил я, — встану, схвачу сапог и сразу дам по голове. Или, наоборот, сделаю вид, что сплю. Тем более что я уже действительно сплю. К черту его, Бабая, у него своя жизнь, у меня своя.

...Мы с первого дня вместе и с первого дня — враги. Он архетипический азербайджанский толстяк, какого легко представить за огромным столом, плотно уставленным яствами: он чавкает, урчит и сосет какой-нибудь рахат-лукум.

Лицо восточное, однако не смуглое, почти белое, даже нежное, состоит из круто натянутых персидских полумесяцев: полумесяцы бровей, полумесяц мясистого, крючком носа, полумесяц рта — углы презрительно опущены вниз.

В бане я увидел его обнаженным: ниже ключиц тоже имелись полумесяцы грудных жировых складок, сходные с женскими молочными железами, и мощнейшая складка на брюхе.

Я воспринимал его как черное, явившееся из тьмы существо. Не человек, не зверь — волосатый, перекатывающийся кусок сала. Черные волосы, черные глаза, черная щетина на щеках; все остальное — живот. Зубы сахарно-белые, но нужные исключительно для контраста, дабы оттенить общую черноту. Из рта, искривленного ухмылкой, непрерывно летят черные ругательства.

Неловкий, нелепый, роняющий все что можно, бесцеремонный, медлительный, вредный. Злой. Соответствующая фамилия: Бабаев. Разумеется, еще в карантине его стали звать Бабай, и если существовал тогда на белом свете типичный, стопроцентный бабай, олицетворяющий фонетическую суть собственного прозвища, — вот это шумное, грубое существо и было таким бабаем.

По-русски говорил превосходно и вообще происходил из образованной хорошей семьи. Но все свои речи, пусть и сформулированные на русском, всегда начинал

с восточного звука «Э!» и потом этим же звуком перекладывал каждую фразу, заворачивал, словно мясо в виноградный лист, и выглядел при этом столь брезгливо, что его не хотелось слушать и смотреть на него не хотелось, а хотелось, чтоб земля под этим бабаем разверзлась и поглотила его навеки.

— Э! Рубанов, подвинься! Такой худой, а половину лавки занял, э!

— Э! Рубанов, как ты можешь кушать такое говно, э? Ты на гражданке тоже такое кушал?

После русской фразы следовала азербайджанская, как правило, оскорбительная ругань; сидящие рядом земляки покатывались со смеху; однако уже через три недели службы уроженцы России, Украины, Грузии, Литвы, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Карачаево-Черкесии, а также Республики Марий Эл взаимно обогатились знанием бранных слов и никто никого не называл ни блядью, ни сукой ни по-русски, ни по-молдавски, ни по-азербайджански.

Но моя ненависть к Бабаю только окрепла.

Наверное, он — пусть избалованный и высокомерный — имел хорошую чувствительность, ясно улавливал мое презрение, и его обращенные в мой адрес шутки день ото дня становились все более ядовитыми.

— Э! Рубанов, чего так смотришь? Займи денег, купи картину, э! На нее смотри.

В конце концов мы вообще перестали терпеть друг друга.

Я все думал, на кого он похож, как зовется то сказочное существо из арабского фольклора, напрягал память — голова работала плохо, все время хотелось спать и жрать, весь мыслительный процесс вращался вокруг мысли о сне и жратве, — но однажды, после бани, натянув чистые кальсоны и обмотав ступни чистыми портянками, в сухой, солнечный, желто-красный октябрьский день я пережил

кратковременный прилив умственной бодрости и вспомнил: джинн! Бабай был неотличим от джинна. Огромный, темный, грубый — он выползал из лампы Аладдина в виде облака, а чуть позже превращался в человекообразного монстра. Все огромное: рот, уши, губы, брюхо.

— Э! Слушаюсь и повинуюсь!

Слушаться и повиноваться, правда, Бабай не умел и не желал и несколько раз даже имел конфликты с сержантами, обучавшими салабонов ходить строем и одеваться за сорок пять секунд. Бабай был антисолдат, за сорок пять секунд он вряд ли умел застегнуть пару пуговиц.

Жирный домашний мальчик, еженедельно получавший из Баку переводы — двадцать пять, пятьдесят рублей, — в столовой он к еде не притрагивался, зато каждый вечер сидел в солдатской чайной, в больших количествах употребляя белый хлеб, повидло и сгущенное молоко.

Я его ненавидел.

Не знаю, насколько богаты были его родители, — но, судя по всему, много богаче моих, а дело было в Советском Союзе, при социализме, где каждый трудящийся получал ежемесячно одинаковые сто тридцать рублей. Я, подмосковный мальчик, уже студент, смутно слышал, что на кавказских окраинах люди живут в другой финансовой парадигме, но впервые на практике столкнулся с материальным неравенством.

Потом он исчез — забрали в другую часть, в «учебку», осваивать специальность радиста, — а когда вернулся спустя пять недель, Бабая никто не узнал. Он похудел, может быть, килограммов на двадцать пять или даже на тридцать. Живот пропал полностью, щеки обтянуло, задница усохла, шея сузилась. Бабай стал красивым и спокойным, и я, увидев его, непроизвольно улыбнулся, и он тоже, и мы обменялись рукопожатием — но через несколько часов снова едва не подрались. Бабай заматерел, окреп, но продолжал

олицетворять собой все самое худшее: высокомерие, брезгливость, любовь к еде и бытовому комфорту. Постоянную готовность подсосать денюжат у папки с мамкой.

Я так его ни разу и не побил всерьез. Он меня — тоже. Азербайджанцы держались плотной группой, в любой стычке выступали единым фронтом. А главное — очень быстро нашли себе теплые места. Едва нас, отслуживших месяц, перевели из карантина в общие казармы, несколько самых умных и ловких уроженцев Баку заимели выгодные должности: один стал художником, другой — каптерщиком. Ходили слухи, что не обошлось без взяток, что кое-кто получил из далекой солнечной республики большой денежный перевод, но лично мне было наплевать, я лишь дополнительно презирал эту публику, везде умеющую хорошо устроиться.

Теперь Бабай вечера напролет пропадал в радиорубке — она же комната художника, — оттуда доносились мелодичные, но немного сладковатые песенки — насколько я понял, даже не азербайджанские, а турецкие — и непременный звон посуды.

...В казарме никого, только я и еще трое таких же. Спим. Вечером двое пойдут на кухню, двое в офицерскую столовую. Это тоже наряд, но там посуду не моют, а чистят картошку всю ночь. Хорошее дело, всем нравится: сидишь, за жизнь болтаешь, руки сами работают, а главное — под утро повариха навалит каждому солдатику по полному блюду той самой картошки, только уже жареной. С котлетами. Офицерам готовят гражданские повара, и котлеты в офицерской столовой недурны. Бабай никогда не чистил офицерскую картошку и не пробовал офицерских котлет, он до сих пор пробавляется батонами и повидлом.

Это повидло меня особенно бесило: фольклорная пища из Аркадия Гайдара; буржуины подкупили толстого

предателя Плохиша именно бочкой варенья. Была еще корзина печенья, поправляю я себя и проваливаюсь в дрему.

Кстати, «гайдар» — азербайджанское слово.

Бабай подошел, позвал:

— Э! Рубанов! — тихо, почти шепотом.

Встать, хвататься за сапог неохота. К тому же мы в казарме, считай, одни. Ударю, опрокину — никто не увидит моей победы, а солдату лучше драться публично, все должны видеть; одного врага побеждаешь, пятеро других — потенциальных — смотрят и понимают, что ты смел и ловок и с тобой лучше не связываться...

Он подошел ближе, наклонился. Я слышал его дыхание.

— Спи, Рубанов, — сказал он тихо. И осторожно подоткнул мое одеяло. — Спи, брат!.. Спи.

Пятница, 13-е

Просыпаюсь за десять минут до подъема. Вся казарма еще смотрит яркие утренние сны. Первое время меня будил дневальный, по моей специальной просьбе. На нашем веселом военном языке это называлось «поставить задачу»: вечером я подходил и «ставил задачу», утром парнишка деликатно трогал меня за плечо: вставай, Андрюха... Потом я привык и просыпался уже сам, повинуясь внутреннему приказу тела. Не знаю, как у других, а у меня биологические часы работают идеально.

Просыпался сразу счастливый, с первой секунды.

Служба подошла к финалу. Через месяц — домой, в гражданскую жизнь, со всеми ее сладостными прелестями. Жил в предвкушении, им и был счастлив. Думаю, предчувствие перемен к лучшему и есть самое счастливое состояние разума.

Открываю глаза, лежу; в казарме тихо; утренний сон бойцов глубок и крепок; никто не стонет, не ворочается. Это просто: на рассвете солдат спит как убитый, потому что пока не убит. Войны начинаются рано утром. Таково одно из основных правил военного коварства. Гитлер напал на СССР в четыре часа утра.

Но сейчас — восемьдесят девятый год, войны нет и не предвидится, и через месяц я стану гражданским человеком, поэтому от счастья у меня звенит в ушах. Ну — и жестокая утренняя эрекция, куда без нее.

Дневальный — сегодня это туркмен Рашид — подходит, скрипя сапогами, а я, сидя в койке, поднимаю руку в жизнеутверждающем приветствии. Не трудись, Рашид, я уже бодрствую. Иди назад, брат. Неси службу. Тебе еще полтора года тянуть лямку, а я — дембель, телом еще здесь, в гарнизоне, но душой уже далеко отсюда.

У нас уютная деревянная казарма в один этаж, здесь тепло даже в самые жестокие морозы. В Тверском крае злые, нехорошие морозы, здесь сыро и мало солнца, и первая зима, как правило, переживается солдатом тяжело. Самые незначительные раны, бытовые порезы и царапины сильно гниют и долго не заживают, особенно если солдат приехал из Азии или с Кавказа и привык к жаре, витаминам, фруктам и прочим благам юга. Выходцы из средней полосы — такие, как я, — приспособлены лучше, но их раны тоже гниют. Я сам сильно гнил в первую зиму, когда работал в автопарке и вонял мазутом, а пальцы были разбиты в кровь из-за ежедневных манипуляций с гаечными ключами.

Но это было так давно, что лень вспоминать. Теперь я дембель, ко всему привыкший, тотально адаптированный. Кроме того, сама мысль о скором возвращении домой образуется вокруг меня защитную оболочку. Теперь я получаю повреждения только в спортивном зале.

Казарма красива. Темно-желтые бревенчатые стены, сине одеяла, в проходе меж двумя рядами коек — ковровая дорожка традиционной номенклатурной расцветки: середина малиновая, по краям зеленые полосы. Иду по ней бо-сиком — ногам прохладно, тогда как голова и плечи пребывают в более высоком и теплом слое воздуха, пропитанном разнообразными, не самыми приятными ночными запахами.

Раскрытые рты, запрокинутые головы, свисающие руки, голые колени. Смоляные и ржаные волосы. Некоторые

головы обриты, но их мало; начальство не поощряет любителей бриться наголо; прическа бойца Советской армии должна соответствовать уставу. В уставе все написано, не будешь блюсти букву — накажут.

Но я — дембель, я уже ничего не блюду и не собираюсь, а насчет прически — голова моя имеет такую форму, что прическа выбрана еще в шестнадцать лет, одна на всю жизнь. Длинные волосы не идут — низкий лоб; слишком коротко тоже нельзя — торчат уши. Однажды побрился наголо, для забавы, и получил три наряда вне очереди, то есть три дня вынужден был мыть посуду в столовой, но самое интересное — в первую же ночь кожа на черепе переохладилась и резко поднялась температура, что доказало мне мою тварную сущность. Волосы — не рудимент, они действительно защищают тело.

Интересно, почему тогда солдата не защищают от мороза волосы на груди или ногах, думаю я и улыбаюсь, вспоминая старую армейскую шутку: «Ноги волосатые — валежок не выдавать!»

В том, чтобы встать раньше всех, есть свой стиль. И преимущества. Во-первых, умывальная комната пуста, и я привожу себя в порядок обстоятельно и неторопливо. Через четверть часа здесь будут толкаться пятьдесят человек. Во-вторых, можно перекинуться словами с дежурным по части, сегодня это мой добрый приятель майор Кувалдин, и я хочу, чтобы он считал меня взрослым человеком, который бережет время жизни. Я не мальчик, вчера призванный, я свое отслужил и получил от армии все, что требовалось. Возмужал, красиво говоря. Или — если перейти на наш веселый военный язык — «забурел».

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Тамбовский волк тебе товарищ, — отвечает Кувалдин.

Таков его мрачный юмор.

Майор уважает меня, несколько раз мы с ним говорили по душам. Кувалдин, как многие другие офицеры, не хочет больше служить в Советской армии. Он намерен уволиться и заняться каким-нибудь бизнесом. На гражданке бурлят страсти, страна меняется, умные и оборотистые люди процветают. А Кувалдин — кадровый офицер — принес присягу и подписал контракт; бросить службу не имеет права. Некоторые из младших офицерских чинов всерьез обсуждают план побега из рядов Вооруженных сил путем суда офицерской чести. Это нелегко: надо совершить какой-нибудь отвратительный проступок, далее — срывание погон и изгнание без пенсии... Впрочем, за два года при мне из нашего батальона не сбежал ни один офицер. Деньги вроде платят, сто сорок рублей за звание, еще столько же — за должность; для окраины Тверской области — вполне прилично. Так что Кувалдин ворчит и пыхтит не всерьез, а — поддавшись общей моде на разложение.

Ходят слухи, что не только армия, весь Советский Союз в скором времени распадется на многие десятки удельных княжеств. Отделятся казахи, отделятся литовцы и эстонцы. Отделится Дальний Восток, и Сибирь, и Якутия, и Грузия. Империя умрет, каждая область будет сама по себе.

Сержант Абрамян, армянский интеллигент и чемпион по акробатике, каждый день повторяет, что Армения будет независима. Но сегодня, сейчас он — воин Советской армии. Идет по проходу меж койками, специально громко, почти демонически грохоча каблуками, и орет, выдувая воздух из широкой груди, чтобы голос был низким, командным:

— Батальон, подъем!!!

Скрип пружин, вздохи, стоны, глухие проклятия и ругань на тридцати языках. Удары многих босых пяток в доски пола. Однако сам я уже стою на крыльце, одетый и умытый.